

Веселухин ложок

У нас за прудом одна логотинка с давних годов на славе. Веселое такое местечко. Ложок широконый. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудреватее растет и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо. И приставать с пруда к той логотинке сподручно: берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз — будто нарочно улажено, а дно — песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, все как придумано. Можно сказать, само это место к себе и тянет: вот де хорошо тут на бережке посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдала поглядеть, — не лучше ли житьишко наше покажется?

К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Еще при Мосоловых мода завелась.

Они — эти братья Мосоловы, при коих наш завод строеньем зачинался, из плотницкого званья вышли. По-нонешнему сказать, вроде подрядчиков, видно, были, да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:

— Что-то ноне у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те подошли.

Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил — еле в двери протолкнуться. Ну, все-таки Мосоловы до полной барской статьи не дошли, попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:

— Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок, за прудом! Попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счет!

И верно, сказывают, в угощение не скалдырничали. Вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколь нутро вытерпеть может.

Известно, подрядчикья повадка — год на работе мотают, день вином угощают да словами улещают:

— Уж мы вам, все едино как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь!

А чего, постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны!

От этих мосоловских гулянок привычка к веселому ложку и зародилась.

Хозяйское угощение, понятно, не в частом быванье, а за свои, за родные хоть каждый летний праздник ездят. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, — чуть не все заводские лодчонки и ботишки к веселому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну, и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто — пирог с молитвой, а то и луковку побольше да погорчее. Одним словом, всяк по своей силе-возможности.

Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему, конечно: песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охтимне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку:

— Место там такое. Шибко драчливое.

К этому живо добавили:

— Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает. Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет.

Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, по стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что заневолю поверишь, как он сказывать станет:

— Стоим это мы с Матвеичем на берегу, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим — идет не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней препестрый, цветочатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдет — на годы, небось, ее запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан граненого хрусталя, в другой — рифчатая бутылка зеленого стекла — цельный штоф. Ну, вот... Подходит эта молодуха к нам, наливает полнехонек стакан, подает Матвеичу и говорит:

— Тряхни-ко, дедушко, для веселья!

У Матвеича, конечно, нет той привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:

— Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.

А бабенка знай посмеивается. Наливает опять стакан и подает мне:

— Не отстанешь, поди, от старика-то?

— Зачем, — говорю, — отставать? Смешной это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки — и то уберу.

Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет: «Стар, да петух, а и молод, да протух». Ну, и другое, что в покор молодым говорится:

— Сопли, дескать, подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали.

Слово за слово — разодрались ведь мы. Да еще как разодрались! Вдолги уж на мировую полштофа распили и все дивовались — как это промеж нас такая оплошка случилась и куда та бабенка сгнула, коя нам по стакану наливала.

Только и другое говорили. В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну, и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделяют, дорогого стоит. Так вот эти рисовщики про Веселуху говорили, тоже будто въявь ее видели. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает — вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:

— А вот это подойдет?

Оглянулся парень, а у него в головах, на пенечке Веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось — как новый хороший узор появится, так Веселуху и помянут:

— Это, беспрременно, она показала. Без ее рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать!

Да вот еще какая заметка была. Самые что ни на есть заводские питухи дивовались:

— Ровно мы с кумом оба на вино крепкие. Это хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмысленыши какие, еле домой доползли. Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе Веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала.

На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли-копоты да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают.

Заводские девчонки да бабенки тоже по-разному Веселуху поминали. Кто слезы лил да причитал:

— Обманула меня Веселуха! Обманула! На всю жизнь загубила!

Кто опять же хвалился:

— Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда Веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.

Так вот смешица в народе и пошла. Кто ругает Веселуху: она людей пьянит да мутит; кто хвалит: самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле — и разговору нет. Всяк про нее размазывает, будто сам ее много раз видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да и бабенки, кои помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали — Веселухин ложок.

Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно:

— Веселухино болото! Чтоб ему провалиться!

От Мосоловых наш завод Лугинину перешел. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то свое заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил — сгорело, другой раз строянку развел — опять сгорело. Третий раз самую надежную свою стражу к строянке приставил, а до дела не довели. Построить-то, точно, построили, да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело, и барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на Веселуху показывали. Да то еще старики говорили: Лугинин этот был какой-то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, это с давня примечено, завсегда девчонкам да молодухам, которые попригожее, горе-горькое. Веселухе будто это и не полюбилось, она и не допустила, чтоб новый барин в ее ложке пакость разводил.

Потом, как завод за казну перешел да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавезти, опять с Веселухиным ложком поворот вышел.

Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно — брюхо набивать да пивом наливать. Живо раздобрили на казенных харчах, от безделья да сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху.

Заприметили — народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:

— Кто есть Виселук?

Им в шутку и говорят:

— Про то лучше всех знает Панкрат, веселухин брат.

Этот Панкрат мастером при заводе был, по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Не один узор да расцветка панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог. Недаром его веселухиным братом прозвали.

Вот немцы и спрашивают этого мастера:

— Твой есть сестра Виселук?

Панкрат своим обычаем и говорит:

— Сестра не сестра, а маленько родня, потому обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого — вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье и протчее такое рукоделье.

Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают, — какая Веселуха собой?

Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит:

— Бабенка приметная: рот на растопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдет — скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли еще хмельного хлебнет, тогда выше всех станет, только ногами жидка.

Немцы даже испугались.

— Какой ушасный женьшин! Такой песпорядок делает. Турма такой ната! Турма!

— Найти, — отвечает Панкрат, — мудрено: зимой из-под снега не выгребешь, летом — в траве не найдешь.

Немцы все-таки добиваются: скажи, в каком месте искать и чем она занимается. Панкрат и говорит:

— Живет, сказывают, в ложке за прудом, а под которым кустом, это каждому глядеть самому надо, да не просто так, а на веселый глаз... В ком веселости мало, можно из бутылки добавить.

Это немцам по нраву пришлось, заухмылялись:

— О, из бутылка можно! Это мы умеем.

— А ремесло, — говорит Панкрат, — у Веселухи такое. С весны до осени весь народ радуется сплошь, а дальше по выбору. Только тех, у кого брюхо в подборе, дых легкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючком да ухо с прихваткой.

Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому — каждый успел брюхо нарастить и задыхался, как запаленная лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопают себя по ляжкам, притоптывают:

— Это есть сильный нога. Как дуб. Крепко стоять могут.

Панкрат на это и говорит:

— Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что сорок верст пройдут, вприсядку плясать пойдут, да еще мелкую дробь выколачивают.

Насчет глаза да уха немцы заспорили:

— Такой бывать не может.

Панкрат все-таки на своем стоит:

— Может, в вашей стороне не бывает, а у нас случается.

Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз с крючком и какое ухо с прихваткой.

— Глаз, — отвечает, — такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли: как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.

Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют, спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит, на порошинку не понимают, махнул рукой, да и говорит прямо:

— Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей Веселухи не повидать.

Немцы на это не согласны, свое твердят: все кусты, дескать, повыдергаем, все корни выворотим, а найдем. Без этого никак нельзя.

— Эту Виселук ошень фретный женьшин. Она пожар делает.

Панкрат смекает, — вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и всамделе хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит:

— Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про Веселуху-то.

Ну, немцы не верят:

— Какой есть разговор, когда пожары были.

— Что ж, — отвечает Панкрат, — пожар всегда случиться может. Не доглядели за огнем — вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянехонька была.

Немцы прицепились к этому слову.

— Ты откуда это знаешь?

Панкрат объясняет: в народе так сказывали.

Немцы свое:

— Скажи, кто говорил.

Панкрат подумал — еще подведешь кого ненароком, и говорит:

— Не упомяну.

Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят:

— Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женьшин Виселук.

Панкрат отвечает:

— Говорил, дескать, что это разговор только. Так сказывают, — молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан граненого хрусталя, в другой — бутылка.

Немцы вроде обрадовались, давай еще спрашивать: какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан, какая бутылка. Одним словом, все до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и загоготали.

— Ага! Попался! Теперь видим, что Виселук знаешь. Показывай ее квартир, а то плохо будет.

Панкрат, конечно, осерчал и говорит:

— Коли вы такие чурки с глазами, так не о чем мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, а от меня слов не ждите.

Время тогда еще крепостное было. У немцев в заводе сила большая, потому как все главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы да все с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху еще такое сказывают, будто она узоры да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули, — сам-де сказывал, что расцветку на ноже из Веселухина ложка принес. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью еще, что панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в котором месте синий цвет кончается, в котором голубой. Ну, все-таки спрашивают:

— Сколько платил Виселук за такой глупый расцветка?

Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло.

— Эх, вы, — говорит, — слепыши! Разве можно такое дело пятаком али рублем мерить? Столько и платил, сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю.

Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белехонек, глаза вприщур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.

Ну, все-таки на том, видно, решили, что Веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к ложку бревна и другой матерьял. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов да деревьев широко очистили, траву тоже подрезали и, чтоб она больше тут не росла, речным песком эту росчисть засыпали. Рабочих понагнали довольно и живехонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстенных плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что не пообедавши с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, ежели Веселуха заявится.

В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая.

Ну, вот. Как все поспело, начальство-то оравой и поплыло на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то — в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке многонько. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, как им в обычае, хоровод завели. Одним словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет.

Подъехали немцы, сгучились на берегу и давай истошным голосом какое-то свое слово кричать. По-нашему выходит похоже на «дритатай».

Покричали-покричали это «дритатай», да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно, — потому сарай хоть с окошками, да они высоко. Видно, неохота было немцам свое веселье нашим показывать.

Наши все-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать, немцы-мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки кофием наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Толкуются друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухранишься. Все, конечно, гологруды, голоруки, а комар тоже свое дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнехонек сарай, и давай этот комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются, да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одежда наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдет, а тут на-ко приехали наполовину нагишом! Туго немцам пришлось, только они все-таки крепятся — желают, видно, доказать, что комар им — тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека — животину одолеет. Невтерпеж и немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился, — по всем лодкам напарьей дыр понавертел. Вот те и «дритатай».

Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог, да разве от весеннего гнуса ухранишься. А на дороге-то еще болотина приходится. Ну, молодежник наш тоже маленько позабавился, — добавил иным немцам шишек на башках.

Долго с той поры немцы в сарае не показывались. Потом насмелились все-таки, на лошадях приехали, и телеги своей, немецкой работы. Тяжелые такие, в наших краях их долгушами прозвали.

Время как раз середка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади еще так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смиренные лошаденки, и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, поводья рвут, себя калечат.

Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет, — понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому не привычны. В лес едут на целый день, а ни пут, ни боталов не захватили. Пришлось припутывать чем попало и пустить вглухую, без звону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют.

Остальные немцы опять покричали свое «дритатай» и убрались в сарай. Там все по порядку пошло. Напились да толкошиться стали, плясать то есть по-своему, а до лошадей да кучеров им и дела нет.

Лошади бьются, понятно. Пути поизорвали. Иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут еще опять добрый человек нашелся: по-медвежьи рывкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались — да по лесу. Поищи их вглухую-то, без боталов!

Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из «Дритатай» по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли. Они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы — видно, про запас от комаров — много лишней одежды понабрали. Им и довелось либо эту одежду на себе тащить, либо в свои долгуши, заместо лошадей запрягаться. На своем, значит, хребте испытали, сколь эта долгуша немецкой выдумки легка на ходу. Ну, а как по лесу за лошадьми бегали, наш молодежник тоже этого случаю не пропустил. Не одному немцу по хорошему фонарю поставили: светлее, дескать, с ним будет.

Солоно немцам эта поездка досталась. Долго опять в своем сарае не показывались. В народе даже разговор прошел: не приедут больше. Ну, нет, не угомонились. В осенях приплыли опять на лодках. Сперва покричали на берегу свое «дритатай», потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае веселье по порядку пошло. Насосались пива да кофию и пошли толкошиться друг перед дружкой. Радехоньки, что комара нет и не жарко — толкуются и толкуются, а того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день на ложке был, давно поразъехался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибежали караульные, которые при лодках поставлены, кричат:

— Беда! Волки кругом!

Время, видишь, осеннее. Как раз в той поре, как волку стаями сбиваться. На человека в ту пору зверь еще наскакивать опасается, а к жилью по ночам вовсе близко подходит. Кому запоздниться в лесу али на пруду случится, тоже от тех не отходит. Сидит близко, глаз не спускает, подвывает да зубами ляскает: дескать, съел бы, да время не пришло.

Ну, вот, выскочили немцы из сарая. Глядят — вовсе темно в лесу стало. Народу нашего по ложочку никем-никого. В одном месте костерок светленько так горит, а людей тоже не видать. А из лесу со всех сторон волчьи глаза.

Немцам, видно, не поглянулись фонари да шишки, какие им наш молодяжник добавлял в те разы. Вот немцы и оборужились: прихватили не то для острастки, не то для бою пистолетики. Испугались волков, да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять, а это уж испытанное дело: где один волк был, там пятерка обозначится. Набегают, что ли, на шум-то, а только это завсегда так.

Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут еще у костерка женщина появилась. К огню-то ее хорошо видно. Из себя пригожая, одета цветисто. В одной руке стакан граненого хрусталя, в другой штоф зеленого стекла.

Стоит эта бабенка, ухмыляется, потом кричит:

— Ну, дубоносые, подходи моего питья отведать. Погляжу, какое ваше нутро в полном хмелю бывает.

Немцы стоят, как окаменелые, а бабенка погрозилась:

— Коли смелости не хватает ко мне подойти, волками подгоню. Свистну вот!

Немцы тут в один голос заорали:

— То Виселук! Ой, то Виселук!

В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли крепко-накрепко, да еще столами-скамейками для верности завалили, и целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали. Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился — все донья напарьей извертел, плыть никак невозможно.

Так немцы эти лодки тут и бросили и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай да лодки-дырватки и остались. Да вот еще слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет и молвят:

— Это еще в ту пору, как немцы на Веселухином ложке свой «дритатай» устроить хотели, да Веселуха не допустила.

На Панкрата немцы, сказывают, еще наседали, будто он все это подстраивал. К главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло.

— Комаров, — говорит, — не наряжал, с оводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил — пусть сами битые показывают. Только работа не моя. От моей-то бы тукманки навряд ли кто встал, потому — рука тяжелая, боюсь ее в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел да медведем ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был. Свидетелей поставить могу.

Тем и отошел, а сарай долго еще место поганил. Ну, потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.